

Уважаемые читатели!

Мы продолжаем конкурс, объявленный в нашем журнале (НО № 10, 99). Напоминаем его условия: нужно прочесть рассказ “короля фельетона” Власа Дорошевича и, воспользовавшись канвой его сюжета, предложить свой рассказ, построенный на известной вам ситуации, типичной для сегодняшней школы.

Лучшие произведения обязательно будут опубликованы, а их авторы — премированы годовой подпиской на “Народное образование”.

Итак:

Горе и радости маленького человека (Посвящается гг. родителям)

Влас ДОРОШЕВИЧ

Иванов Павел, ученик 2-го класса 4-й гимназии, вышел из дома сырым, осенним, пасмурным утром.

Выйдя из подъезда, он пошёл едва-едва, медленно переставляя ноги, потом зашипел, начал прибавлять ходу и завернул за угол с такой уже быстротой, что должен был дать свисток, чтобы не передавить прохожих.

Это был не Иванов Павел, а курьерский поезд, шедший из Петербурга в Орёл с быстротой 120 вёрст в час. Кругом мелькали пейзажи, и, проходя мимо ворот, Иванов Павел за две тумбы давал тревожные свистки, чтобы не перерезать на полном ходу бочку с водовозом.

Иванов Павел, шипя и выпуская пары, с быстротой молнии переводил себя со стрелки на стрелку, сам удивлялся своему искусству и переходил через улицы.

С конца октября или начала ноября Иванов Павел воображал себя команчем или онахом. Зимой он был следопытом и очень внимательно рассматривал следы в снегу, находя в них много таинственного, загадочного и тревожного, заставляющего его испускать крики совы.

Но осенью, когда ещё живы были воспоминания о поездке в деревню, он был курьерским поездом, который каждый день в 8 часов утра ходил в Орловскую губернию.

Дойдя до лавки Шестопалова, Иванов Павел зашипел, дал контропар, и поезд остановился. “Машинист пошёл в буфет”.

Иванов Павел зашёл в лавку. Положил на прилавок пяточок, данный ему на завтрак, и сказал:

— Дайте мне палку шоколада “национального”, только с испанцем... Или нет, дайте мне лучше батон... Или вот что... Не надо батона... Дайте мне палку косхалвы. Самой лучшей.

И от лавки Шестопалова Иванов Павел пошёл уже медленно, погружённый в пережёвывание косхалвы.

Палка косхалвы была упругая, как толстый кусок резины. Косхалва вязла в зубах так, что Иванов Павел часто не мог разжать челюсти и запускал в рот палец. Это ему нравилось.

— Настоящая пища воина. Индейцы и не то ещё едят. А Кук, который ел от голода свои мокасины!

Когда Иванов Павел съел палку косхалвы, у него ломило скулы.

Затем Иванов Павел начал останавливаться перед окнами открывавшихся магазинов и рассматривать вещи, которые он знал все наизусть, какая где лежала.

А перед магазином “Оптика” подождал даже, пока приказчики откроют окна, чтобы посмотреть на настоящий маленький паровоз на рельсах, который он собирался три года “накопить денег от завтраков и купить”.

Но не мог исполнить этого, потому что каждое утро свой пяточок проедал.

В гимназию Иванов Павел пришёл перед самым звонком, и сердце его вдруг наполни-

лось тревогой.

Сегодня его должны вызвать из латыни.

Он хотел утром в гимназии подзубрить. Когда же теперь?

Он чувствовал страшное беспокойство во всём своём существе. И все кругом чувствовали боязнь и беспокойство. Бегали, играли, кричали, но всё это так нервно, словно они хотели шумом и криком заглушить внутренний беспокойный голос.

Товарищи кинулись к Иванову Павлу и закричали:

— Что ж ты, Девет, а так поздно приходишь. Тут без тебя битва была. Иди к Крюгеру.

На что Иванов Павел раздражённо крикнул:

— Убирайтесь от меня к чёрту! Дурак ты, а не Крюгер.

— Так и ты не Девет, а свинья! — сказал обиженный Крюгер.

И все закричали:

— Господа! Господа! Иванов больше не Девет!

Крюгер дал ему кулаком в бок, за что Иванов Павел сделал ему подножку.

В эту минуту ударил звонок.

— На первом уроке выучу! Русский меня не спросит.

Но Николай Иванович, “русский”, вошёл в класс и после молитвы объявил:

— Господа, диктант!

У Иванова Павла сердце упало.

Диктант длился целый час, и когда пробил звонок и началась первая перемена, к Иванову Павлу подлетели товарищи:

— Ты как смел Костюкову подножку давать? Подножку нельзя! Не по правилам!

— Господа! Мне надо латынь подзубрить! — объявил было Иванов Павел, но все закричали:

— Трус! Трус!

А Мозгов Игнатий крикнул:

— Какой же ты второй силач в классе?

Это уже был вопрос самолюбия. Иванов Павел вышел из-за парты и сказал:

— Ставься! Беру на левую ручку. Много ли вас на фунт сушеных?

— Подножку не давать! Подножку не давать! — кричали товарищи.

А первый силач в классе стоял около, готовый каждую секунду вступиться.

Мозгов кидался и с фронта, и с бока, но Иванов отшибал его каждый раз и здорово приложил об парту, как ударил звонок и все кинулись по местам.

В коридоре раздались медленные, мерные шаги чеха-латиниста, словно шаги каменного командора.

У Иванова Павла вдруг зачесалось всё тело.

— Встуаньте! — делая знак рукой, сказал чех-латинист.

Все встали.

— Сайтеся! — объявил чех-латинист, опуская руку.

Все сели.

— Встуаньте! — опять крикнул он.

Опять все встали.

— Сайтеся! — опять сказал чех-латинист.

Опять все сели.

Проделав так четыре раза, чех-латинист сел на кафедру, отметил отсутствующих, объяснил следующий урок и взялся за журнал.

— Господи! Не меня! Не меня! — зашептал Иванов Павел и начал часто-часто креститься под партой.

Чех-латинист поводил пальцем по журналу и воскликнул:

— Мозгоу!

— Не меня! Не меня! — взыграл душой Иванов Павел.

Он сидел, низко-низко пригнувшись к парте, и под столом давал ногой пинка сидев-

шему впереди Веретенникову.

— Сиди выше! Сиди, говорят тебе, выше! Чтоб меня не увидал.

— Я и так высоко сажу! — шептал в ответ Веретенников, подложил под себя две книги и вытянулся в струнку.

— Выше, говорят тебе! Выше! Чтобы не видно было! — лупил его под столом Иванов.

— Да некуда выше! — огрызнулся Веретенников.

— Уеретенников Никуай! Вы чеуо там разгуариваете? — раздался вдруг голос чеха. — С кем? Уотодвиньтесь!

И он пристально воззрился в пригнувшегося к парте Иванова Павла.

Иванов Павел чувствовал, как у него кровь прилиwała к голове и горели уши.

Он сидел, нагнувшись, не смея взглянуть на чеха, но чувствовал на себе его пронизывающий взгляд.

Весь класс молчал. Мертвая тишина царила.

“Спросит! Спросит!” — словно в предсмертном томлении подумал Иванов Павел и полез под парту.

Но с кафедры раздался голос:

— Куда уы? Остуаньтесь!

Иванов замер.

Прошла ещё тягостная, бесконечная минута.

Чех водил пальцем по журналу и наконец сказал:

— Иуанов Пуавел!

Иванов Павел подкашивающимися ногами пошёл к доске.

— У уас в прошлый рауз була двойка, — медленно и с расстановкой начал чех, — вуам нуадо пупруавиться. Пупруавьтесь!

Иванов Павел мигал, дрожал, краснел, бледнел.

— Позвольте вам сказать, Оскар Викторович...

— Гуоворите! — объявил чех. — Гуоворите! Уас уызвали зуатем, чтоуб вы гуоворили! Мы ждуюем, чтоу скуажет Иуанов Пуавел!

— Позвольте вам сказать, Оскар Викторович... — начал было Иванов Павел и хныкнул.

— Не плуачьте! Не нудо плуакать! — остановил его чех. — Куакия вы знуаете pluralia tantum?

Иванов Павел беспомощно оглянулся на класс. Первый ученик, Патрикеев Николай, с оттопырившимися ушами сидел на первой скамейке и сквозь очки ел чеха глазами, молил его:

— Спросите меня! Меня спросите, Оскар Викторович, про pluralia tantum!

Постников Алексей поднимал уже руку и показывал испачканную чернилами ладонь, готовый вот-вот сорваться с места и забарабанить.

Мозгов показывал Иванову язык. Костюков делал в воздухе знак “Кол”!

“Все, подлецы, рады, что я не знаю!” — подумал Иванов Павел и вдруг почувствовал себя таким обиженным, таким маленьким, таким несчастным, что слёзы полились у него из глаз.

— Я... я... нникакких... не... не... знаю... pluralia... pluralia... tantum!

— Иуанов Пуавел не знает никуаких pluralia tantum! — вдруг словно с изумлением воскликнул чех таким громким голосом, что в коридоре отдалось эхо.

Класс хихикнул.

— Уаши уши, Иуанов Пуавел, будет уэто pluralia tantum или нет?

Класс насторожился, предчувствуя спектакль.

Иванов Павел начал икать и всхлипывать.

— Уотвечайте!

— Не знаю! — робко пробормотал Иванов Павел.

Класс фыркнул и расхохотался.

Иванов Павел оглянулся, как затравленный зверёк.

— Иуанов Пуавел никуогда не видуал своуих ушей! — объявил чех-латинист.

Класс надрывался, рыдал, катался от хохота.

— Суадитесь...

— Оскар Викторович, у меня голова!.. — сделал Иванов Павел шаг вперёд.

— У всеаукого человуэка есть гуолова! — объявил чех, взялся за журнал и обмакнул перо.

— Оскар Викторович! — с отчаянием воскликнул Иванов Павел.

— Суадитесь! — сказал латинист и провёл в журнале пером сверху вниз.

Весь класс показал Иванову Павлу по пальцу.

А Патрикеев Николай зашептал:

— Садись же! Садись же!

И поднял руку.

— Я знаю, Оскар Викторович, *pluralia tantum*!

Иванов Павел с воем прошёл на своё место и, севши, завыл ещё сильнее.

— Иуанов Пуавел плуачет, — объявил чех, — пусть выйдет зуа дверь, стуанет плуакать туам.

Иванов Павел вышел за дверь, стал в коридор — и в классе доносились его рыдания.

Время от времени он появлялся в дверях с красным лицом, мокрым, вымазанным чернилами, поднимал руку и говорил:

— Ос... Ос... Оскар... Вик... Викторович...

Но чех спокойно отвечал каждый раз:

— Стуаньте в кауоридоре!

И продолжал допрашивать учеников.

Так кончился урок. Следующим уроком был батюшка.

— Иванов Павел, чего слезы льёшь, неутешно рыдаешь, словно избиенный младенец? — спросил батюшка.

— Мне... мне... Оскар Викторович... кол... кол... кол поставил! — ответил, всхлипывая, Иванов Павел.

— Уроки надо учить с прилежанием, Иванов Павел, а не плакать! — заметил батюшка. — Пойди и умойся, потому что похож ты на чучело!

Иванов пошёл, умылся и, вернувшись в класс, спросил у соседа записную тетрадку и переписал в неё все заданные уроки на две недели вперёд, решив с этой минуты учить уроки не иначе, как наизусть.

Это решение его несколько успокоило и пробудило в его сердце надежду:

“Может, и простит. Вперёд буду хорошо учиться”.

Он сидел и мечтал:

“Буду первым учеником. Пятёрки по главным предметам домой принесу. Мама мне комнатную гимнастику повесит”.

Но, вспомнив про маму, опять начал всхлипывать. Тяжёлые предчувствия сжали ему сердце. Ему стало тяжело, тревожно, беспокойно.

И как только пробил звонок, Иванов, сшибая с ног встречных, сломя голову бросился к учительской и стал у дверей.

Была большая перемена.

Гимназисты шумели внизу. Из-за затворённых дверей учительской доносились разговоры, смех.

У дверей учительской стояли двое: Иванов Павел и другой ученик, тоже 2-го класса, но другого отделения, Никанор Иванов, самый слабосильный в классе.

— Ты к кому? — спросил самый слабосильный.

— К Оскару Викторовичу, кол поставил. А ты?

— К немцу! — отвечал самый слабосильный. — За шум оставил!

И оба заплакали.

Так плакали они вместе минут пять.

И, наконец, самый слабосильный сказал голосом, прерывавшимся от всхлипываний:

— Хочешь старое наполеоновское перо на новое восемьдесят шестое менять?

— У меня восемьдесят шестые все со свинчаткой! — всхлипывая, ответил Иванов Павел. — Хочешь я тебе за наполеоновское с веточкой старое перо дам и немножко снимки дам?

— Ишь ты какой! — ответил уже более живо слабосильный. — На что мне твоя снимка? Я сам снимку жую!

И вынул из-за щеки кусок чёрной резины.

— Так твоя жёваная, а моя с керосином варена! — запальчиво ответил Иванов Павел. — Щёлкать можно. Хочешь я тебе об лоб щёлкну?

— Щёлкни!

— Ишь как хлопает!

— А дай мне самому щёлкнуть!

— Нет, брат! Снимка, она к рукам прилипает. Не дам!

— Да что я, украду твою снимку-то?

— И украдёшь.

— Сам ты жулик! Жульё! Жульё! И снимка твоя дрянь!

— Что-о? Ты как смеешь мою снимку ругать? А?

Иванов Павел дал самому слабосильному подножку, — в эту минуту двери отворились и из учительской вышел чех-латинист.

— Друаться здесь? Уопять Иуанов Пуавел! Ступайте к стену. Уостанетесь на уодин час!

— Оскар Викторович! — кинулся Иванов к чеху и схватил его за фрак. — Оскар Викторович!

— Стуаньте!

— Оскар Викторович! Оскар Викторович! Я буду хорошо учиться!..

Латинист сходил с лестницы.

— Оскар Викторович! Оскар Викторович! — кричал Иванов.

— Кто здесь кричит? Вы здесь кричите? — раздался громкий голос директора, выходящего из учительской.

Всё стихло.

Не слышно было даже всхлипываний.

Камень лежал на груди у Иванова. Он сидел, вздыхал и с покорностью повторял про себя:

— Ну, что ж делать! Что ж делать! Пускай!

Затем ему что-то приходило в голову, от чего его всего ёжило и корёжило. И он спешил отогнать от себя страшную мысль:

— А может, и не будут!

На французском языке он немножко поуспокоился и даже сыграл под партой в пёрышки, но безо всякого увлечения.

Когда же перед концом последнего урока, арифметики, надзиратель зашёл в класс и объявил: “Записан и остаётся Иванов Павел на один час!” — Иванов заёрзал на месте, чувствуя какие-то судороги, которые пошли по телу, и окончательно упал духом.

Гимназия с шумом разошлась и опустела. Только в одном классе сидело человек десять оставленных и среди них Иванов Павел.

Старшие шушукались между собой и чему-то смеялись, младшие плакали.

Дежурный надзиратель сидел на кафедре и писал записки родителям.

— Иванов Павел.

И он вручил Иванову записочку:

“Иванов Павел, 2 класса 1 отделения, за единицу из латинского языка, за шум и драку во время большой перемены оставлен на 1 час после уроков. Помощник класс-

ных наставников А. Покровский”.

Иванов Павел, который всё время сидел и обдумывал, как он окончательно исправится, и получал уже в мечтах своих похвальный лист и книги из рук самого директора, взял записку и разревелся:

— Какой же шум? Я никакого шума не делал. Я только дрался.

— Завтра принесёте с подписью родителей! — объявил надзиратель и в половине четвёртого сказал: — Ступайте!

Уныло и жутко было выходить из гимназии по пустым залам. Уныло и жутко было в прихожей, где кое-где висело на пустых вешалках пальто, уныло и жутко было идти по большому пустому двору.

— Хочешь, Иванов, я тебя провожу до дома, а потом ты меня проводишь до дома! — предложил ученик 3-го класса, тоже оставшийся на час “за упорное непослушание классному наставнику”.

— Убирайся ты! — со злобой и скорбью отвечал Иванов и пошёл не домой, а по церквям.

Сначала зашёл в одну часовню Божией Матери, потом в другую, потом в третью, потом сходил ещё в одну часовню приложиться к образу Спасителя.

Молился везде горячо и долго, кланялся в землю, прикладывался по нескольку раз, брал вату и чувствовал на душе примирение, успокоение и облегчение.

Даже когда какой-то лавочный мальчишка крикнул ему вдогонку: “Синяя говядина, красные штаны!” Иванов Павел не обернулся, не выругался, как бы следовало, а кротко подумал в душе: “Господь велел прощать всем. Господи, прости ему его согрешение!”

Он ужасно боялся чем-нибудь теперь прогневать Бога.

И давал в душе обеты:

“Я буду такой добрый, такой добрый. Только пусть бы меня сегодня не секли!”

И вдруг ему вспоминалось, как он в субботу убежал от всенощной, чтобы подраться на церковном дворе с мальчишками.

И его охватил страх. Он незаметно крестился, чтобы не увидели прохожие, и говорил:

— Я всегда, я всегда теперь буду ходить ко всенощной. Только пусть меня сегодня не секут.

Так он пришёл в Казанский собор, приложился к иконам и особенно долго молился у одной.

Он всегда молился у этой иконы, и у него выработалась даже практика, как молиться.

Надо было стать на колени, откинуться немного назад и говорить шёпотом так, чтобы голос шёл как можно глубже и чувствовалось лёгкое содрогание во всех внутренностях.

— Господи! Господи! Дай Бог, чтобы меня сегодня... чтобы меня сегодня... не секли! — тише добавлял он, конфузясь перед Богом, что обращается с такой просьбой.

Он истово крестился большим крестом, крепко прижимая пальцы и кланяясь в землю, долго оставался так, прижимаясь лбом к холодному полу.

И он молился так до тех пор, пока не начал чувствовать знакомого ощущения: сердце как будто поднимается к груди, горло слегка сжимает, слёзы сами текут большими каплями из глаз и на душе разливается такое спокойствие.

— Ну, значит, сечь не будут! — решил он, почувствовав знакомое ощущение.

И сейчас же сам испугался своей самонадеянности. Закрестился торопливо, торопливо:

— Господи, прости, прости!..

Встав с колен, приложился к образу, перекрестился три раза и пошёл из собора, в дверях снова остановившись и истово перекрестившись ещё три раза.

— Сечь не будут!

Смеркалось. Есть хотелось страшно. Иванов Павел пошёл к дому.

И чем ближе он подходил к дому, тем больше и больше падал духом.

— Если сейчас из-за угла выйдет женщина, значит — высекут, а если мужчина — сечь не будут...

Выходила женщина.

— Нет, нет. Не так! Если до тумбы чётное число шагов — не будут, нечёт — будут.

Он рассчитывал, делал то огромные шаги, то семенил, но встречный мужчина чуть не сбивал его с ног, разбивал все расчёты, и выходило нечётное число.

Иванов Павел выбирал самые отдалённые улицы, останавливался у окон магазинов, шёл всё тише и тише, и когда, наконец, против воли, против желания, всё же подошёл к дому, пал духом окончательно:

— Высекут!

И он принялся ходить взад и вперёд около своего дома. Зажгли фонари, и дворник Терентий в шубе вышел на дежурство.

Он заметил барчука, шагавшего взад и вперёд по тротуару, и сказал:

— Что, вихры, бродишь? Опять набедакурил? — и, помолчав, добавил: — Из 16-го номера барчука тоже драть нынче будут. Горничная за розгами прибежала. Надо и для тебя связать. Так уж на вас метла и выйдет.

От этих неутешительных слов стало на сердце у Иванова Павла ещё хуже.

Пробежала в лавочку горничная, заметила барчука и, вернувшись, сказала барыне:

— А маленький барин по тротуару ходят!

— Приведи его домой!

Горничная выбежала на подъезд и весело крикнула:

— Павел Семёныч! Идите, вас барыня кличут. Скорейча идите! Чего вы, как вам сто лет! Скорейча! Ну, будут дела! — сказала она ему на лестнице, и Иванов Павел неутешно заплакал.

Он разделся и стоял в передней, стоял и ревел.

— Иди-ка, иди-ка сюда! — сказала мама. — Ты что ж это, полуночник? Ты бы до полуночи домой не приходил. Иди сюда. Что там ещё?

И только что Иванов Павел переступил порог гостиной, мать дала ему пощёчину.

— Мамочка, не буду! Ой, мамочка, не буду! — завопил Иванов Павел.

— Хорошо, хорошо, мы это потом поговорим. Чем ещё порадуешь? Что принёс?..

— Ох, мамочка... Мне неправильно...

— Давай записочку-то, давай!

Мать прочла записочку, сжала губы, посмотрела на Иванова Павла, как на какую-то гадину, помолчала и спросила:

— Что ж мне теперь с тобой делать прикажешь? А?

— Мамочка, я не буду...

— Что с тобой делать?..

И Иванов Павел почувствовал жгучую боль в ухе, завертелся, заёжился, как береста на огне.

— Мамочка, милая...

— Хорошо, хорошо. Мы с тобой потом поговорим! Потом... — зловещим тоном проговорила мать.

“Потом. Не сейчас будут!” — полегчало на душе у Иванова Павла.

— Пойди в кухню, умой харю-то! На кого ты похож?

Иванов Павел пошёл в кухню умываться.

Кухарка Акулина возилась у плиты, разогревая для него обед, увидела и сказала:

— Дранцы — поранцы, ногам смотр?

Иванов промолчал и мылся.

— Зачем диктанты не пишешь?! — наставительно заметила кухарка.

Иванова Павла взорвало:

— И вовсе не за диктант, а по латыни! Дура! Дура ты, дура!

— А ты не дурачь постарше себя. Я же тебя держать буду, как маменька стегать станет. Я тебя подержу! Я тебя так подержу! — поддразнила кухарка.

Иванову Павлу хотелось на неё броситься с кулаками, но он удержался.

Хотелось попросить:

— Аксиньюшка, милая, недолго держи!

Но он тоже удержался.

— Пускай убивают. Ещё лучше!

И, глотая пополам со слезами холодное кушанье, Иванов Павел представлял себе, как он уже помер под розгами, и его похоронили, и все сидят на поминках и едят, как вот он теперь, и мать рвёт на себе волосы и кричит:

— Это я, я убила его! Очнись, мой Паша, очнись, мой дорогой, мой бесценный!

Как рыдала она, когда у него была скарлатина.

И Иванову Павлу стало жаль и себя, и матери, и всех, и он горько-горько заплакал.

— Ага! Кончил обедать? Ну-с? — слышался голос матери.

Иванов Павел вскочил горошком.

— Мамочка! Мамочка! Я сначала приготовлю уроки!

— Хорошо! Хорошо! Готовь, готовь уроки!

Иванов сел за уроки и принялся переписывать всё, что только можно было переписать. Потом он всё выучил, что можно было выучить, и особенно громко твердил латинские слова:

— Увидят, что я стараюсь!

Чай пить он не пошёл, боясь, чтобы не воспользовались чайным перерывом.

Наконец, ни переписывать, ни читать было нечего. Спина и грудь ныли. Иванов Павел встал и начал ходить по комнате.

— Барыня спрашивают: кончили, мол? — появилась в дверях горничная.

— Нет! Нет! — испуганно забормотал Иванов Павел, снова сел за книги и принялся читать примеры для переводов:

“— Войска царицы победили конницу варваров. — В глубоких пещерах таятся львы. — Пожары часто уничтожают целые города”.

И ему представилось, как весь их дом охвачен огнём. Нет, лучше на город напали неприятели, в их доме все заперлись. Но он, как древний грек Эфиальт, показывает неприятелям тайную дорогу по чёрной лестнице. Неприятели врываются. Всех избивают, и он впереди неприятелей...

— Пойти к дворнику, сказать, чтобы надёргал! — словно про себя сказала горничная, проходя через детскую и шурша юбками.

“А Глашке кол в живот — первой!” — думал Иванов Павел. И вот он избивает всех, всех. Все умоляют его о пощаде, ползают у его ног. Но он неумолим. Какие пытки он им выдумывает! “С кухарки сдерите кожу. Глашку на кол”. Иванов Павел даже содрогается. Ему становится их даже жаль. “Просто прикажу убить. А маму... Маму я спасаю... “Вот, — говорю, — мама”...”

В эту минуту откуда-то издали, из-за стен послышался какой-то визг. Детский голос орал, вопил что-то.

Иванов Павел прислушался. Замер, и голова у него ушла в плечи.

— Слышишь? — спросила мать, появляясь в детской. — В 16-м номере порют. Так же орать будешь.

“И мать убить!” — решил Иванов Павел.

Кухарка прошла в комнаты.

— Спросит, скоро, что ли-ча? — на ходу обронила она.

“А Аксинью!.. Ух, Аксинью!..”

— Маменька сказали, что нынче довольно. Каких уроков не доучите, завтра доучите! — объявила горничная. — Барыня сейчас сюда идут. Пойти позвать Аксинью! У-у, бесстыдник!

Иванов Павел бросился перед вошедшей матерью на колени.

— Мама, милая, не сейчас! Дай Богу помолиться!

— Перед смертью не надышишься! — улыбнулась мать. — Молись, молись!.. Да ты бы

сначала разделся.

Но Иванов Павел раздеваться не стал. Он стал на колени и долго-долго истово молился на икону, делая земные поклоны и шепча как можно громче, чтоб слышно было в соседней комнате:

— Господи, помилуй милую маму! Господи, защити, спаси и помилуй милую маму!

Слышит она, как я за неё, или не слышит? — думал Иванов Павел и возвышал голос всё больше и больше.

А в дверях детской стояла Акси́нья и приговаривала:

— Ишь кувыркается! Закувыркался, брат!

И горничная, войдя в детскую, нарочно громко сказала:

— Куда розги-то положить? Ах, нынче хороши! На редкость!

Иванову Павлу стало нестерпимо. Он вскочил.

Вошла мать.

— Раздевайся. Ложись.

— Мамочка! — вопил Иванов Павел. — Мамочка, не буду! Мамочка, милая, ты увидишь, — не буду!

— Раздевайся. Ложись.

— Мамочка!..

Иванов Павел ползал перед матерью на коленях, ловил её платье, целовал, но старался не приближаться слишком, чтобы его не поймали и не ущемили головы между колен. Эту систему Иванов Павел ненавидел больше других.

— Глаша, раздень барина!

— Мамочка, я сам...

И Иванов Павел принялся раздеваться медленно-медленно.

— Глаша...

— Мамочка, я сам.

Иванов Павел был готов.

— Ложись!

— Мамочка, ты меня не больно?.. Мамочка, ты меня недолго? — задыхаясь, говорил он, стараясь поймать руку, которая его сейчас будет сечь.

— Нечего, брат, нечего уговариваться. Ложись...

— Мамочка...

— Положить тебя?

— Мамочка, я сам.

— Акси́нья!

— Мамочка, не надо, чтобы Акси́нья держала! Я сам буду держаться!

— Акси́нья!

И он почувствовал, как Акси́нья взяла его за худенькие ноги, и сейчас же вслед за этим жгучую боль.

— У-ай! — взвизгнул мальчик, схватился руками, почувствовал жгучую боль в руках, отдёргнул их, опять схватился, опять отдёргнул.

— Глаша, держи руки.

— А-а-ай! — как зарезанный завопил мальчик, чувствуя полную беспомощность.

— Учись! Учись! Учись! — приговаривала мать.

— Мамочка, не буду! Мамочка, не буду! — вопил Иванов Павел.

— Не дерись, не шуми! Не шуми, не дерись! Не шуми! Не шуми!..

— Мамочка, я не шумел... Мамочка, я не шумел...

И он чувствовал, что умирает...

В постели пахло сухими берёзовыми листьями. Красная лампадка мигала перед образом. В сумраке слышались стихающие рыдания.

И грудь Иванова Павла была полна слёз. Болело и саднило. А по душе расплывалось спокойствие.

— Кончено. Случилось. Больше нечего бояться.

И тихо всхлипывая, заснул бедный мальчик, и снилось ему во сне, что он предводитель команчей и на голову разбивает всех белых.

За что надругались над человеческим телом и над маленькой человеческой душой?